

отсюда сказочно-нереальный характер «красной дѣвицы-голубицы» Катерины и «злого старика», чернокнижника Мурина. Повесть «Хозяйка», непонятая современниками, становится понятной и художественно оправданной, если смотреть на нее, какъ на душевную трагедию Ордынова. А. Бемъ объясняетъ происхождение замысла повѣсти, — связь ея съ душевнымъ состояніемъ автора въ 1846-1847 году и сообщаетъ много новыхъ данныхъ о томъ загадочномъ періодѣ жизни Достоевскаго, когда онъ былъ на грани психическаго заболѣванія.

А. Бемъ, конечно, правъ, называя Достоевскаго «сновидцемъ» и подчеркивая «глубинный, фантастическій тонъ» его творчества. Но съ меньшей силой слѣдуетъ подчеркнуть его «духовный реализмъ», подлинную онтологию его произведеній, стоящую надъ всякой психологіей. И здѣсь въ области метафизики, гдѣ Богъ съ дьяволомъ борется, гдѣ рѣшаются вопросы о существованіи Бога, о смыслѣ жизни и оправданіи добра, психоанализъ теряетъ всѣ свои права. Если «Вѣчный мужъ» и «Хозяйка» суть только «развертываніе сна» и «драматизация бреда», они остаются на уровнѣ интересныхъ психологическихъ этюдовъ; лишь при столкновеніи реальныхъ личностей: Вельчанинова и Трусоцкаго, Ордынова и Катерины они возвышаются до трагедіи.

Эти возраженія не уменьшаютъ большой цѣнности работы автора, какъ подготовительной стадіи къ изученію Достоевскаго, великаго «спневролога». Такая работа совершенно необходима. Но за ней должна послѣдовать «новая книга» о Достоевскомъ, о которой мечтаетъ авторъ. Замыселъ ея очень интересенъ. Въ основу такой книги, пишетъ А. Бемъ, должна лечь проблема преодоленія замкнутости личности черезъ приобщеніе къ живому потоку жизни. Пожелаемъ ему скоро ее написать.

К. Мочульскій,

Н. Дорнъ. Кирѣевскій. Парижъ. 1938.

Отдѣльной книги объ И. В. Кирѣевскомъ у насъ никто еще не удостоился написать и потому одно уже заглавіе работы г. Дорна привлекаетъ къ ней вниманіе и сочувствіе. Читаніе ея однако больше всего оттолкнетъ именно тѣхъ, кого всего сильнѣй привлекало ея заглавіе. Не то, чтобы авторъ былъ человѣкъ бездарный; онъ умѣетъ отчетливо мыслить и въ соотвѣтствіи съ такимъ мышленіемъ писать; книга его настолько толкова, что только диву даешься, какъ эта самая толковость не помѣшала ему вообще взяться за нее. Развѣ не ясно заранее, что не стоитъ писать книгу о человѣкѣ, къ которому не чувствуешь ничего кромѣ вражды, да еще называть ее «опытъ характеристики ученія и личности». Такіе опыты мало кому удаются; опыты г. Дорна совсѣмъ не удался.

Нѣтъ сомнѣнія, что у Кирѣевскаго было много недостатковъ: слабоволіе, дѣнь, извѣстная робость и расплывчатость мысли, а въ молодости, какъ видно изъ его берлинскихъ писемъ роднымъ, наив-

ное самонравие и ребяческая заносчивость. Умолчать об этих чертах было бы пристрастно, но небезпристрастно и с упоением их подчеркивать. Изъ тѣхъ же берлинскихъ писемъ явствуетъ, что молодой Кирѣевскій Германію не любилъ и къ нѣмцамъ былъ несправедливъ; нѣсколько странно, однако, что еще черезъ сто лѣтъ г. Дорнъ отъ этого приходитъ въ негодование. Надо сказать, впрочемъ, что если онъ ставитъ Кирѣевскому всякое лыко въ строкъ и среди возможныхъ мотивовъ его поступковъ доводитъ лишь самымъ низменнымъ, то это не потому, что онъ сердитъ на него самого (художественную одаренность, напр., онъ готовъ ему оставить), а потому, что онъ ненавидитъ славянофильство, а также терпѣть не можетъ православие. Два особенно ласковыхъ позднихъ письма Кирѣевского его духовному отцу онъ приводитъ въ качествѣ доказательства не то слабоумія, не то обскурантизма, славянофильство же стремится отождествить съ такъ называемой официальной народностью, считая основными его признаками «національную исключительность, «враждебное отношеніе къ Европѣ» и «религіозную нетерпимость». Всякій безпристрастный историкъ признаетъ, что эти признаки справедливы было бы формулировать иначе и говорить о національномъ и религіозномъ самосознаніи и о подчеркиваніи особенности Россіи по отношенію къ западному міру. Характерны для всякаго ученія не его крайности, а его основное и центральное ядро.

Конечно, славянофиловъ можно и должно критиковать, но казалось бы заранѣе ясно, что бесплодно этимъ заниматься, пребывая на старыхъ, критически непровѣренныхъ западныхъ позиціяхъ. Между тѣмъ именно это и составляетъ рѣшающій дефектъ книги г-на Дорна. Онъ не понимаетъ, что въ любомъ отошедшемъ въ исторію спорѣ ни одна сторона уже не можетъ быть вполне права или неправа. Ему показалось бы смѣшнымъ, если бы кто-нибудь сейчасъ заявилъ себя заранѣе во всемъ согласнымъ съ Кирѣевскимъ или Хомяковымъ, но вѣдь не менѣе забавенъ и онъ самъ, когда ссылается на незыблемый для него авторитетъ Чернышевскаго, Писарева и Пылина. Такой атавизмъ дѣлаетъ его книгу безсодержательной и ненужной, собраніемъ матеріаловъ, наизванныхъ на стержень обветшалой и скудной идеологіи. Къ тому же атавизмъ этотъ касается не только идей, но и литературныхъ оцѣнокъ: г. Дорнъ называетъ Боргатынскаго «однимъ изъ маленькихъ поэтовъ пушкинской плеяды» и обрушивается на Кирѣевскаго, который «не затрудняется назвать его первокласснымъ и ставить выше нѣмецкихъ авторовъ». При такихъ литературныхъ горизонтахъ лучше ни о русской, ни даже о нѣмецкой литературѣ не писать.

В. Вейде.

A. Hackel. Das altrussische Heiligenbild, die Ikone. «Disquisitiones Carolinae» I. X. Nijmegen, 1936.

Эта книга русскаго ученаго, написанная по-нѣмецки и изданная въ Голландіи, даетъ не исторію русскаго иконописанія, но чрезвычайно